

Василий Тюренок

Рассказы и миниатюры





Карл Маркс

На уроке рисования я изобразил Карла Маркса. Он получился, как и положено — неряшливым, с всклокоченной неухоженной бородой и голубоватыми растрёпанными волосами. Показал учителю.

— Очень хорошо получилось, — сказал тот. — Это кто, крестьянин?

— Нет, — ответил я, — Карл Маркс!

— Да? — удивился учитель. А потом добавил:

— А что, похоже.



Ейск

Я окончил четвёртый класс, и мы с мамой и младшим братом поехали в Ейск. Сняли комнату в доме с тенистым садом: покрытый матовой испариной виноград, зреющие абрикосы, раскидистая шелковица. До моря — минут двадцать пешком по жаре. Оно было мелким, дурнопахнущим и неинтересным. Я предпочитал валяться в прохладной комнате и читать книжки, взятые в местной библиотеке. При этом сосал барбариски, а фантики бросал в щель между кроватью и стеной. Через неделю мама стала делать влажную уборку, отодвинула кровать и увидела огромную кучу фантиков.

— Вася, — воскликнула она, — как тебе не стыдно, ведь ты пионер!

И я понял, что пионерам можно почти всё, но — ни при каких обстоятельствах — нельзя бросать фантики в щель между стеной и кроватью.

Юра

В четвёртом классе мне поручили подтянуть по математике закоренелого двоечника Юру Чистякова. После уроков мы стали ходить к нему домой и делать домашние задания. Казалось, Юра начал что-то понимать. Он мучительно морщил лоб, напускал на лицо выражение крайней озабоченности и то и дело прихлёбывал из огромной чашки приторно сладкий чай. Так продолжалось почти месяц. Наконец подошёл срок очередной контрольной работы. Я надеялся, что Юра получит твёрдую тройку, а при благосклонности фортуны даже и четвёрку с минусом.

— Ну как? — спросил я Юру после окончания контрольной.

— Ой, четыре задания сделал, а пятое не успел — ответил он.

Это была победа. До сего времени Юра ни в одной контрольной не решил ни одного задания.

На следующий день учительница должна была огласить результаты. Математика была третьим уроком, и я не мог дожждаться её, надеясь, что Юра получит хорошую отметку, и всем станет ясно — своими успехами он обязан мне. Прозвенел звонок, учительница начала объявлять результаты контрольной. Дойдя до Юры, она сделала паузу. Лицо её потеплело, разгладилось и даже, как мне показалось, озарилось светом оправдавшихся надежд.

— Юра Чистяков, — сказала она. — Наверняка вы заметили, как Юра начал исправляться. Видно, что он очень старается и, наверное, скоро у него получится. Но пока — “двойка”.

Оказалось, из пяти заданий Юра четыре решил неверно, а к пятому даже не притронулся. На этом и закончилась моя педагогическая деятельность. А Юра каким-то образом умудрился выучить восемь классов и ПТУ, став столяром-краснодеревщиком. Как говорили, очень хорошим. Вряд ли знания математики сыграли бы в его жизни сколь-нибудь значимую роль.

Генрих

Генрих был нашим соседом по лестничной клетке. Ровесник моего отца, он работал футбольным судьёй. Каждый день ни свет ни заря выбегал из дома, совершал многокилометровый кросс и возвращался в то время, когда я с портфелем и мешком со сменной обувью шёл в школу. Генрих очень не любил постороннего шума, и если в какой-то квартире громко звучала музыка, он брал молоток и остервенело бил им по батарее. Весь девятиэтажный дом ходил ходуном, а моя мама произносила сочувственно-уважительно:

— Генрих колотит.

Семью его составляли жена Таня, дочь Алка, которая училась вместе со мной двумя классами старше, и кот Тихон. Каждый вечер Тихона выпускали на прогулку. Видимо, возвращаться он не жаждал, т.к. Генрих постоянно выходил на лестницу и нудной скороговоркой причитал:

— Тишка, Тишка, Тишка, Тишка...

Так продолжалось не менее двух часов. Тишка возвращался после одиннадцати вечера — наглый и довольный, и начинал истошно завывать под дверь. Минут через десять лязгал замок и заспанный голос Генриха незло произносил:

— Ах ты, сучье вымя. Последний раз пускаю.

Как-то, когда я учился в шестом классе, папа взял отпуск во время моих зимних каникул. Каждый день мы ездили в музеи, кино, зоопарк, планетарий. Зимы тогда в Ленинграде были морозными и снежными. Дороги и тротуары ещё в декабре покрывались утрамбованным снегом, а над люками теплотрасс курился мохнатый пар. Мы вышли из квартиры, собираясь совершить очередной культпоход. Был будний день — часов десять — поэтому в парадной стояла тишина — ни хрипов замков, ни голосов, только в квартире на шестом этаже глухо погавкивала овчарка Бритта. Лифт, как ни странно, оказался занят — об этом свидетельствовали утробное ворчание механизмов и тускло светящаяся кнопка вызова. Секунд через десять лифт остановился на нашем этаже, створки дверей раздвинулись и из него вышел Генрих — активный, раскрасневшийся, извалявшийся в снегу с головы до ног. В руках он держал лыжи с надетыми на них палками, и весь его вид выражал радость и довольство.

— Генрих, а ты что, тоже в отпуске? — спросил папа.

Генрих удивлённо взглянул на него и сказал:

— Да нет, я на больничном.

В спортивном костюме, извалявшийся в снегу, энергичный и покрасневший, меньше всего он походил на больного.

Это было лет сорок назад. Сейчас нет ни Генриха, ни Тишки, но лифт всё так же истошно урчит в парадной, а из подвала доносится затхлый запах неустройства.



Ходики

Закончив делать уроки, я накрыл написанное бледно-рыжей промокашкой и закрыл тетрадь. На зелёной обложке чернели профиль Пушкина с характерными бакенбардами и напечатанное слово: "Тетрадь." Дальше синими чернилами по верх чёрных линий было написано: "по русскому языку ученика 4-го "Б" класса Тюренкова Васи."

Часы показывали восемь вечера, на улице давно стемнело. За дверью комнаты раздавались нервные шаги мамы. Папа обычно приходил с работы в семь, и задержка давала основания предполагать, что он вернётся, пошатываясь, и сбивчиво расскажет какую-нибудь труднопредставимую историю.

Скоро в парадной загудел лифт, послышался звук автоматически открывающихся дверей и раздался звонок — дёрганный, тревожный, нехороший. Мама, придав лицу каменное выражение, бросилась к двери и захрустела замками. Папа вошёл — абсолютно трезвый, радостный, увешанный разными пакетиками и свёртками. Бросались в глаза матово-блестящий алюминиевый дуршлаг и большая картонная коробка. А звонок провучал так подозрительно нечётко потому, что из-за занятости рук папа был вынужден нажать кнопку носом. Мы недавно переехали в новую квартиру на восьмом этаже только что построенного дома, и родительские помыслы были направлены исключительно на её обустройство. Всё вокруг было завораживающим и непривычным. Летом в парадной из подвала вылетали комары и посредством лифта распространялись по этажам. Зимой трубы центрального отопления бормотали, взвизгивали, постанывали — казалось, они живут собственной жизнью. А я жил своей — новой, не похожей на прежнюю — ужасно интересной и многообещающей.

— Это ходики, — сказал папа, положив коробку на пол.

Ходиками оказались настенные часы в виде избушки на курьих ножках с чёрными ажурными стрелками, маятником и двумя серебряными гирьками на цепочке, своим весом приводившими в действие часовой механизм. В этот же вечер их повесили в кухне на стену рядом с холодильником, подтянули гирьки, и ходики пошли, наполняя пространство уютным убаюкивающим шелестом.

На следующий день я пришёл из школы как обычно — в два пятнадцать. Разделся, испытывая лёгкий озноб от ощущения пустоты квартиры, почитал, сделал уроки и вошёл в кухню. По радио передавали драматическую постановку — проникновенный мужской голос рассказывал о смятённых чувствах некоего Вовки.

Я сел на табуретку и стал смотреть через стекло на улицу. В окнах напротив отражался закат. От трамвайной остановки шли люди, исчезая за углом дома. Всё было как вчера, и только время монотонно шуршало стрелками ходиков, напоминая: ничто не стоит на месте. Даже тишина.



“Пиво”

Девятый класс принёс ощущение взрослости и дополнительный предмет в учебной программе — НВП — Начальная Военная Подготовка. Мы изучали конструкцию противогаза, осваивали строевой шаг, правила поведения во время ядерной атаки. Учитель — отставной подполковник — носил кличку “Пиво”. У него были неподдающиеся расчёсыванию кудрявые волосы молочно-белого цвета, и когда он, повернувшись спиной, писал на доске, голова его напоминала наполненную пивом огромную кружку, над которой клубилась неопрятно стекающая пена. Мягкий и усталый человек, он выполнял свои учительские обязанности нехотя, и было заметно, как это его тяготит. Все скучали на уроках, болтали, плевались жёванной бумагой через трубочку и пускали самолётики, сложенные из тетрадных листов.

Однажды Пиво пришёл на урок отрешённый более обычного. Уткнулся в свою методичку и стал бубнить что-то о необходимости обеззараживания питьевой воды. Мы, как обычно, занялись кто чем. И вдруг он с криком: “Смирно, негодяи!” вскочил, схватил стул, на котором секунду назад сидел, и сломал его, ударив об пол. Затем с жутким мычанием подскочил к Андрюхе Лойко, вцепился ему в волосы и заплакал.

Потом мы узнали, что два дня назад у него умерла жена. Оказывается, она долго болела, а он всё это время ухаживал за ней. А работал потому, что пенсии отставника не хватало. Ему было чуть меньше пятидесяти, и нам он казался старым и смешным.

Военные сборы

В шестом классе я влюбился в одноклассницу. Любил её долго и с переменным успехом. Потом ещё много лет ощущал лёгкий холодок вдоль позвоночника, когда видел жгучую брюнетку маленького роста или слышал имя Лена.

Школа у нас была восьмилетней, по окончании все разлетелись кто куда: предмет моей страсти в музыкальное училище, а я в девятый класс другой школы. Чувство оказалось на редкость прочным — не ржавело и плохо справлялось с вынужденной разлукой, но трагедия невозможности каждый день видеть возлюбленную смягчалась впечатлениями от новых одноклассников и учителей.

Так в любовных томлениях и прочих переживаниях пятнадцатилетнего недоросля прошёл девятый класс. Наступил июнь, а вместе с ним трёхдневные военные сборы. С утра нас должны были забирать автобусы у школы и везти на полигон в Горелово. Там предстояло стрелять из автоматов, овладевать тактическими навыками ведения боя, ориентирования на местности, обучаться прочим военным премудростям. Вечером эти же автобусы должны были возвращать нас домой. Казалось, после унылого учебного года наконец-то настали весёлые деньки. Одно омрачало радость — директор школы в ультимативной форме потребовала:

— Всем коротко подстричься! Проверю лично!

Девчонок это, конечно, не касалось, а вот для парней являлось серьёзным неудобством, т.к. практически все носили длинные волосы. Над стриженными смеялись, считая их маменькиными сынками и убогими созданиями. Но делать нечего — понимая бесперспективность споров с директрисой, все подстриглись. А я... Я мог стерпеть что угодно: насмешки друзей, сочувственные взгляды, неприятие своего отражения в зеркале, но допустить, что моя возлюбленная (она жила в соседнем доме) увидит меня в столь непрезентабельном виде — никогда. Всю ночь я ломал голову, пытаюсь найти выход из создавшегося положения. И нашёл.

У нас на антресолях валялась старая шапка, сохранившаяся, видимо, со времён отцовского детства. Связанная из толстой шерсти, она была похожа формой на будённовку, только без шишака. Надетая и застёгнутая на шею на три пуговицы, она полностью закрывала голову, оставляя открытыми лишь брови, скулы и верхнюю часть подбородка. Возможно, её надевали под каску красноармейцы времён советско-финской кампании. Я решил сказаться простуженным и, надев эту нелепую шапку, попытаться скрыть факт отсутствия стрижки.

Настало утро первого дня военных сборов. Вроде, всё складывалось согласно плану. У школы стояли автобусы. Военрук дал команду строиться. Построились, произвели расчёт. Прозвучала команда: “По автобусам!” И в этот момент мы услышали истошный крик директрисы:

— Стооооооооайте!

Оказывается, она наблюдала за происходящим из окна кабинета на втором этаже. Увидела меня в подозрительной шерстяной шапке и мгновенно всё поняла. Остановив процесс посадки в автобус, она позвала меня в кабинет. Когда я вошёл, она не стала читать морали или что-либо выяснять, стащила шапку, взяла ножницы и за полминуты привела мою голову в надлежащий вид. Шапка стала ненужной, и я вернулся к автобусу, держа её в руке.

А потом мода изменилась — ушли в прошлое брюки-клёш и длинные волосы. Ребята стали коротко стричься, а пышные причёски сохранились только на старых фотографиях, вызывающих ностальгические улыбки. Особенно у тех, кто полысел.

Модные ботинки

Первый раз я попробовал спиртное во время летних каникул после восьмого класса. Помню — мир начал смягчаться, добреть, а ощущения собственной значимости и любви к людям раздулись до гипертрофированных размеров. Чей-то настойчиво-заботливый шёпот проникал в ставшую удивительно лёгкой голову:

— Васька, маслом закусывай — меньше опьянеешь.

Интересно, а зачем тогда пить вообще?

Июньский вечер был тягуч и ласков. На столе из закуски — нарезанный чёрный хлеб, сливочное масло и банка трески в томате — одна на восемь человек. Дело было в садоводстве под Ленинградом — на даче моего одноклассника Кольки Данилова. Весь следующий день я провалялся на чердаке, мучаясь тошнотой и головной болью, а Колькины дедушка с бабушкой сочувственно таскали мне воду в литровой банке, которая опустошалась в течение получаса. Тогда я поклялся себе, что больше — ни грамма, но клятву не сдержал, и уже в ноябре напился опять — в более приличной обстановке квартиры одноклассницы — во время празднования Седьмого ноября. Потом на Новый Год. Потом на Восьмое марта и Первое мая. Пили мы разновидности вина под общим названием “портвейн”. К настоящему портвейну это вино не имело никакого отношения — изготавливалось советской вино-водочной промышленностью на основе виноградного сырья — отжимок и косточек. Оно имело тошнотворный вкус и восемнадцатиградусную крепость. Опьянение давало возможность на время перестать ощущать гнетущую нелогичность окружающей жизни и восторженную фальшь официоза. В конце девятого класса я уже знал также вкус сухого, шампанского, водки и кубинского рома. В моём классе пили почти все парни. Выпивка считалась признаком взрослости, самостоятельности и фронтёрского характера.

Девятый класс закончился, и мы с мамой и младшим братишкой поехали отдыхать на Азовское море. Там были пыльные акации, изобилующие фруктами базары и беспечная обстановка курортного городка. По вечерам я, надев широкие брюки-клёш и пёструю приталенную рубашку с огромным скруглённым воротником шёл на турбазу. Там играл ВИА, отдыхающие танцевали, а с моря доносился запах подгнивших водорослей. Я садился на скамейку и ждал, когда кто-нибудь пригласит меня на медленный танец. Этого не происходило, в одиннадцать музыка прекращалась и я шёл домой. Недели через две ко мне подошла женщина лет тридцати с обесцвеченными завитыми волосами и крупными зубами. Она казалась ужасно старой и некрасивой.

— Извините, вы танцуете? — спросила она.

Я почувствовал прикосновение чего-то порочного и взрослого.

— Извините, у меня очень болит нога, — пролепетал я и стал пробираться к выходу, неестественно прихрамывая.

На этом мои попытки обнять красивую девушку под медленную музыку прекратились, и больше на турбазу я не ходил.

Каждый день по пути с моря мы заходили в местные магазины. Продавцы узнавали нас, здоровались, а мама покупала какую-то бижутерию, носовые платки и хозяйственные мелочи, отсутствующие в ленинградских магазинах. Однажды в обувном она купила мне очень модные ботинки малинового цвета с разводами, прямоугольными носами и толстой подошвой, называемой "платформа". На внутренней стороне было вытиснено клеймо "Сделано в Ереване", а своей яркостью они бросали вызов убожеству отечественного дизайна.

Первого сентября я пришёл в школу в новых ботинках. Друзья стали спрашивать: "Где достал?" — а остальные искоса бросать завистливые взгляды. Я был счастлив.

Подшло Седьмое ноября, и мы решили собраться у Сани Советникова. Саня после восьмого класса ушёл работать на завод учеником токаря и ходил в вечернюю школу, что позволяло ему смотреть на всё с высоты человека, прекрасно понимающего жизнь. К тому времени мои модные ботинки порядком поизносились — они оказались сделаны из некачественных материалов — краска облезла, нитки порвались и торчали из швов неряшливой порослью, а подошва неравномерно стёрлась. Но всё равно они оставались ужасно модными. Ни у кого в школе больше таких не было.

Саня жил с матерью в трёхкомнатной квартире. Иногда их посещал председатель профкома какого-то завода Борис Моисеевич. Он носил костюм без галстука (видимо, подчёркивая этим свою принадлежность одновременно и к интеллигенции, и к рабочему классу), а в грудном кармане пиджака — отвёртку. Войдя в квартиру и разувшись, он стремительным жестом доставал её, мгновенно находил разболтавшийся винтик и принимался его подкручивать. Похоже, починка розеток и выключателей была его высшим предназначением.

В тот день Санина мать сделала салат “оливье”, достала из деревянной бочки на балконе квашенной капусты и уехала с Борисом Моисеевичем на дачу. К 5 часам стали собираться ребята. Каждый приносил с собой, что мог. Спиртное ставили на стол, и когда все собрались, он стал напоминать выставку достижений Ленвинзавода: сухие вина, креплёные — марочные и обычные, настойки, наливки и напиток с характерным названием “Спотыкач”.

Подумав, что делать с этой роскошью, мы решили смешать всё в тазу и накачать углекислым газом с помощью сифона. Через час все были пьяны, любезны и расположены к общению. Оливье был съеден. Отварили картошки, открыли несколько банок дефицитного зелёного горошка, найденных под кроватью в спальне Саниной матери. Всё это ушло за несколько минут. Саня неоднократно ходил на балкон и приносил оттуда квашенную капусту.

В комнате клубился сигаретный дым, в углах обжимались парочки, приёмник надрывался голосом популярного дуэта “Баккара”. Колька Данилов отплясывал с неизвестной мне девицей в модном джинсовом платье. Торчащие из-под него сдавленные чёрным капроном ноги были очень красивы. Видимо, она понимала это и всячески старалась их продемонстрировать. Когда возникала пауза между песнями, Колька с девицей продолжали держаться за руки, при этом у него на лице была смущённо-глуповатая улыбка, а девица всем своим видом показывала, что попала сюда случайно и не понимает, что тут делает. Саня — совершенно пьяный — сидел за столом и спал, уронив голову на грязную клеёнку. Время от времени он поднимал её, окидывал присутствующих ненавидящим взглядом и ронял опять.

К десяти часам празднество стало приобретать черты хаоса. Люди уходили, приходили, многие были не знакомы друг с другом. Кто-то принёс огромный бобинный магнитофон и дом стал сотрясаться от орущих на всю катушку “Deer Purple”.

В общем, домой я попал глубокой ночью. От Саниного дома было минут пятнадцать ходьбы. Мама, конечно, спала. Я разделся, набрал в банку воды из-под крана, прошёл в свою комнату и лёг, пытаюсь уснуть. Стены качались, потолок то приближался, то удалялся, кровать взмывала в воздух и раскручивалась, как будто попала в воздушную воронку. Вдруг дверь в комнату открылась и зажёгся свет. Мама стояла, держа что-то в вытянутых руках. На её лице был написан ужас.

— Вася, это что? — спросила она, показывая ботинки, которые брезгливо держала в руках.

Один из них был моим — ярко-малиновым, с прямоугольным носом и платформой, другой — обычным невзрачным изделием фабрики “Скорород” — чёрным, с тоненькой подошвой и куцым каблучком. Оказывается, я пришёл от Сани в разных ботинках — прошёл в них больше километра по городу, разулся в прихожей и не заметил, что ботинки разные. К тому же чужой оказался на два размера меньше. Видимо, не стоило нам газировать спиртное. Иначе всего этого наверняка не случилось, и мама не напугалась бы так.



Колхоз

Вступительные экзамены кончились. Вместе со списком зачисленных на доске объявлений в фойе института появился первый приказ декана. Он обязывал новоиспечённых студентов отправиться в совхоз с целью оказания помощи измученному сельскому хозяйству. Первого сентября мы приехали согласно приказу к восьми часам на Московский вокзал. Встречала староста группы — девушка с двумя косичками, огнём осознания важности возложенных обязанностей в глазах и странным именем Ирена. Когда кто-либо пытался назвать её более привычным именем Ира, она зло щурилась, окидывала собеседника ледяным взглядом и шипела: “Я — Ирена!”

Вокруг толпились парни с рюкзаками, девчонки в спортивных штанах и пухлый подозрительный тип в расшитой тубетейке, с круглым лоснящимся лицом и очень узкими глазами. На вид ему было лет сорок. Оказалось, это тоже вновь поступивший — Кохабай Артыков. Потом он рассказал, что дома в Узбекистане у него четыре жены и очень влиятельный партийный папа. Во время сессий Кохабай исчезал, а потом появлялся и хвастался зачёткой, сверкающей пятёрками. Тогда ему было двадцать девять лет, но выглядел он намного старше.

Стали знакомиться. Многих я помнил по абитуре. Наконец все собрались, и мы поехали.

Совхоз был недалеко от Ленинграда. Жили в бараке. Каждая комната имела четыре двухъярусные кровати и две тумбочки. Отопление отсутствовало. Время от времени слышался прерывистый гул проходящих электричек. Он напоминал о городе, тёплой квартире и свободе. Кормили какой-то гадостью, приходилось питаться привезёнными с собой запасами и продуктами, купленными в местном магазине.

В семь утра по коридору барака шёл дежурный и, умирая, постанывал:

— Поооодъём, поооодъём, поооодъём...

Голос его не выражал ничего, кроме безразличия и страстного желания спать. Минут через двадцать из барака начинали выползать ребята. Зевая и почёсываясь, они брели к расположенным на улице умывальникам. Потом завтракали и садились на скамейки во дворе. Парни молча курили, девчонки вполголоса болтали. В восемь к бараку подъезжал совхозный автобус. Водителя звали Николай Николаич. Видимо, он причислял себя к местной интеллигенции, т.к. носил не ватник — как все — а городской укороченный плащ тёмно-бежевого цвета и брюки, заправленные в резиновые сапоги. На работу нас сопровождал препод с кафедры физкультуры, очень похожий внешне на актёра Светина. За отрывистую

речь, которая больше напоминала собачий лай, он получил кличку "Гав-Гавыч". Николай Николаич нетерпеливо сигналил, и мы втягивались в автобус.

— Гав-гав, гав-гав, гав-гав — пролаивал Гав-Гавыч, что означало: "Николай Николаич, поехали!" — и автобус трогался.

Работа наша заключалась в уборке моркови. Ребята почти ползком передвигались вдоль грядок, ухватывали морковь за ботву, вырывали из земли и обрубали зелень. У каждого было кольцо из алюминиевой проволоки, выданное бригадиром. Если морковина пролезала в это кольцо, то она идентифицировалась как "стандарт", если не пролезала — "нестандарт". Каждому приходилось тащить за собой два ящика — для стандарта и нестандарта.

Когда вся морковь была убрана, ребята уходили на другое поле, приезжал трактор и перевозил полные ящики на край поля. Погрузку и разгрузку выполняла бригада грузчиков из пяти человек. Входил в неё и я. Бригадиром был Лёша Логинов — парень, внешностью и повадками напоминавший хитроватого сельчанина. Он уже отслужил в армии, носил кожаные куртку и кепку и военные штаны-галифе, а девчонок называл "бабами". Мы же — "чувихами", "герлами", "тёлками" — как угодно, только не "бабами".

Как-то раз нас предупредили, что из города придёт грузовик. Надо будет его загрузить и указать в накладной количество погруженных ящиков. Машина пришла после обеда. Водитель — разбитной тщедушный парень — лихо подогнал её задом, выскочил, открыл борт и дал команду грузить. Через полчаса всё было закончено. Пришло время оформления накладной. Ящиков влезло двести пятьдесят восемь. Водитель, которого звали Витя, снял кепку, воровато оглянулся и сказал:

— Пацаны, напишите двести восемнадцать.

— Нет-нет-нет — неуверенно возмутился Лёша, — Это невозможно!

— Пацаны, ну что вам стоит? — взволнованно зашептал Витя. — А у меня вот... тут...

Он юркнул в кабину и вернулся с пятилитровой пластмассовой канистрой и большим свёртком. В канистре оказался разливной портвейн, а в свёртке ветчина и хлеб. Лёша сглотнул, посмотрел на нас и спросил:

— Ну что?

— А чего, — сказал Серёга Сычёв — нормально.

Остальные тоже не возражали. Витя уехал. Мы выпили портвейн, съели хлеб и ветчину, т.е. употребили полученную взятку по назначению. Сидели на ящиках — пьяные, сытые, счастливые. Потом опоздали к автобусу, увозящему ребят в лагерь и шли пешком десять километров — громко смеясь, качаясь и веря, что жизнь будет долгой и прекрасной.

Дежурство в ДНД

В этот день мы с Серым — студенты-второкурсники — должны были исполнить свой долг перед Родиной — отдежурить с 17.00 до 23.00 в ДНД. Явившись к пяти часам в опорный пункт милиции на ул. Дзержинского, мы прошли инструктаж, повязали друг другу на правый рукав красные повязки с белыми надписями “ДНД” и вышли на улицу. Была середина ноября — сыро, темно, мерзко. Улицу продувал ветер с Невы. Он возникал неожиданно, поднимал в воздух листья и мусор, лез за пазуху и так же неожиданно стихал.

Нашей задачей являлось патрулирование маршрута: ул. Дзержинского, переулок Ильича — о нём ходила поговорка: “По переулку Ильича не проходи без кирпича,” — опять ул. Дзержинского, разворот на Садовой и в том же порядке обратно. Затем в другую сторону по Дзержинского, сквер у ТюЗа, Загородный проспект до Витебского вокзала и назад — в опорный пункт.

На протяжении всего маршрута нам было вменено в обязанности пресекать любые попытки граждан нарушить социалистическую законность, как-то: распивать, справлять естественные надобности, двигаться по улицам, раскачиваясь и бормоча... Нарушителей следовало задерживать, препровождать в опорный пункт и сдавать милиционеру дежурному для определения их дальнейшей судьбы.

Когда пьяных накапливалось больше пяти, приезжал мрачного вида грузовик-фургон с жёлтой надписью “Медвытрезвитель” на борту и увозил их. Эта надпись завораживала меня, заставляла задуматься о смысле сокращения “мед” в слове “медвытрезвитель”. По-видимому, оно указывало на то, что в этом учреждении людей приводили в норму различными медицинскими способами: делали уколы, ставили банки, заставляли вдыхать ароматный пар из ингаляторов. И очень хотелось узнать, какие ещё бывают вытрезвители — кроме медицинских.

В переулке Ильича было темно, неуютно и даже страшновато. Мы торопливо прошли его, с лёгким сердцем опять вышли на Дзержинского и дошли до Садовой. Слева была площадь Мира, справа — безымянная шашлычная. Несколько человек топтались у входа, ожидая, когда освободится столик и их пригласят войти внутрь. Было видно, как за стеклом в жирном чаду скользят официанты с подносами, а за столиками сидят сытые раскрасневшиеся люди — пьяные и доброжелательные.

Порывшись в карманах, мы насчитали девять рублей с мелочью, встали в очередь и через полчаса сидели за столиком в блаженном тепле, ощущая запах

жареного мяса и слушая мерный шум, производимый шестью десятками никуда не торопящихся выпивших людей. На общем фоне мерного хрипловатого рокота раздавались возгласы типа: “Могёшь, Петруха!”, “Саныч, боржомчику!”, “Ну, девки, вздрогнули!” и т.п.

Официантка принесла меню, мы заказали две порции ветчины, чанахи, шашлык и бутылку марочного портвейна (другой выпивки в меню не было). Вся эта роскошь стоила меньше восьми рублей. Оставалось около двух рублей мелочью, и я решил сбегать в гастроном — купить ещё спиртного. Через десять минут вернулся, пряча за пазухой бутылку “Алиготе”. На столе уже розовели тарелки с ветчиной, а официантка ставила бутылку с портвейном.

— Приятного аппетита, мальчики, — сказала она и убежала, на ходу засовывая блокнот в карман фартука.

Столик был на четверых. С нами сидели двое прилично одетых мужчин с подчёркнуто интеллигентными манерами. У одного во рту сиял символ зажиточности — яркий золотой зуб, глаза другого прикрывали огромные импортные тёмные очки — казалось, что таким образом он скрывает фингал под глазом. Несмотря на радужную непроницаемость стёкол, было видно, что он внимательно разглядывает меня. Я потянулся к бутылке, чтобы разлить портвейн по фужерам, и в этот момент мужчина в очках резким движением вытащил из кармана коробок, поставил его на торец и сказал, обращаясь ко мне:

— Молодой человек, что это такое?

Я удивился, но ответил:

— Коробок.

— Нет, не коробок. Ну?

— Не знаю.

Он посмотрел на меня с ласковой укоризной и сказал:

— Храм! А какой?

— Спас-на-крови?

— Нет!

— Смольный собор?

— Нет!

— Исаакий?

— Нет!

— А что же?

— Собор Исаакия Далмата!

Мне стало не по себе, Серый опасливо улыбался. Я быстро наполнил фужеры до краёв. Мы выпили не чокаясь, я налил ещё. В бутылке оставалось менее трети. Но мир начал меняться, и явно в лучшую сторону. Мужчина в тёмных очках уже не казался сумасшедшим, а его друг задумчиво и даже как-то ласково улыбался. Золотой зуб блестел уютно и успокаивающе. В спорах о чём-то возвышенном мы выпили бутылку коньяка, принесённую ими, наше сухое, заказали ещё портвейна, а загадочный коробок-храм бесследно исчез в тумане алкогольного братства.

Серый вдруг сказал:

— Давай позвоним Таньке со Светкой.

Танька со Светкой учились на втором курсе строительного института и жили в общежитии у Техноложки. Мы познакомились с ними в метро две недели назад, и они сразу пригласили нас в гости. На следующий день, купив две бутылки шампанского и пять хризантем, мы пришли к ним в общежитие на Серпуховской. Девушки провели нас через вахту в свою комнату. Вдоль стен стояли четыре кровати. На середину был выдвинут стол. На нём находились большая миска с холодцом, открытые консервы и нарезанная брынза. Танька приехала из Тихвина, а Светка из Житомира.

Сели и замолчали. На Таньке было нелепое для этого времени года летнее розовое платьишко, а на Светке — тёмный спортивный костюм. Под расстёгнутой олимпийкой зелёный свитер домашней вязки, плотно облегающий грудь и талию, а мочки ушей были оттянуты крупными клипсами из розовой пластмассы. Кажется, девушки приехали не из других городов, а откуда-то из дальних областей галактики.

Танька сказала:

— Ребята, кладите себе холодное.

Я понял, что так она называет холодец. Серый стал смущённо ковырять вилкой в миске, а я взялся открывать шампанское.

Пробка не давалась, я начал возиться, и Светка с каким-то брезгливо-приблатнённым выражением лица сказала:

— Васька, хули ты там вошкаешься?!

Я опешил на мгновение, но взял себя в руки и, сделав вид, что ничего не произошло, продолжил открывать бутылку. Романтический флёр мигом испарился, настроение испортилось окончательно. Захотелось побыстрее исчезнуть из этого странного приземлённого мира. Через час нам удалось выбраться из общаги и по молчаливому согласию мы тут же забыли про девушек. Но теперь Серый, разомлевший от тепла и выпивки и жаждущий приключений, предложил позвонить в общагу и попросить вахтёршу позвать их из комнаты.

— Зачем? — спросил я.

— А чего, трахнем — сказал Серый и сам испугался своих слов.

— А как же дежурство?

Тут Серый вспомнил что-то печальное и заплакал.

Каким-то образом мы оказались на улице. Серый называл швейцара "отец", а я пытался поймать такси, хотя денег у нас не было совсем, да и ехать было некуда.

Надев повязки ДНД, снятые перед шашлычной, мы пошли к Загородному — обнявшись, раскачиваясь и горланя песню из к/ф "Д'Артаньян и три мушкетёра" — сытые, пьяные, жаждущие подвигов или, по крайней мере, значительных событий.

Что было дальше помнится смутно, но наши поступки отличались необъяснимостью с точки зрения логики нормального человека: с помощью красных повязок дружинников проникли в ТЮЗ и пытались во время спектакля организовать проверку зрителей на предмет употребления алкоголя. Перекрывали движение

троллейбусов на Загородном проспекте. Искали кабинет начальника Витебского вокзала с целью задержки поезда "Ленинград — Минск". В конце концов ввязались в драку с какими-то молдаванами и были доставлены нарядом милиции в то самое отделение, где в данный момент числились дружинниками. Допрашивал нас пожилой добродушный майор с усталым взглядом и отсутствием какого-либо рвения.

— Что ж вы так, сынки? Небось, первый раз выпили?

Серый, видимо, почувствовавший нежелание майора наказывать нас, взвился:

— А чо такого, товарищ майор? Подумаешь, полбутылки сухонького! По поводу замерзания!

Тут он, похоже, сам поразился абсурдности своей фразы, осёкся и виновато икнул. Майор по-отечески взглянул на него и сказал:

— Ой ли? Небось, не сухонького, а красненького, и не полбутылки, а целую.

Боже мой, знал бы он, какую невероятную смесь и в каких количествах мы выпили в течение прошедших нескольких часов.

Заставив написать объяснительные и расписаться в каких-то бумагах, он отпустил нас домой.

В институте мы неделю ходили тише воды, ниже травы, и уже стали думать, что всё обошлось. Но через неделю обоих вызвали в деканат. Не трудно было догадаться, что послужило причиной вызова. Секретарь, сидящая в приёмной деканата, увидев нас, кивнула на кабинет замдекана. С испуганно-нагловатыми физиономиями мы постучались и вошли. Замдекана — холёный моложавый мужик в кожаном пиджаке — сидел за письменным столом и изучал какие-то бумаги. Оторвав от них взгляд, он, ухмыльнувшись, сказал:

— Ну что, алкоголики, допрыгались?

Мы стояли, изображая на лицах стыд и раскаяние.

— Что это? — он с отвращением повернул к нам написанные в милиции объяснительные. Я с трудом узнал в этих каракулях свой почерк. Лист был исписан под углом, а в конце можно было различить предложение: "Впредь обещаю," несколько перекошенных цифр — видимо, дату — и мою подпись.

— Ладно, идите, раздолбаи, но учтите — прощаю последний раз.

Обрадованные благополучным разрешением ситуации, мы выпили по две кружки пива у ларьков на Садовой и поехали к Серому отмечать. Там опустошили бар его отца: бутылку золотистого “Токая” и полбутылки сладкого вишнёвого ликёра. Хотелось продолжить, но денег не было, и мы выпили стоящие в ванной египетские духи матери Серого. Никогда в жизни не ощущал во рту столь мерзкого вкуса.

Институт мы закончили, хотя и в разное время. По специальности поработать практически не удалось, т.к. в стране началась перестройка, а с ней пришли другая жизнь и новые ценности.

Серый сейчас в Канаде, я в Нью-Йорке. Улица Дзержинского переименована в Гороховую, а что стало с шашлычкой на Садовой — не знаю. Но помню её прекрасно.



Маятник

Служить в армии я не хотел. Абсолютно. И не собирался. Благо, в восьмидесятые годы в Ленинграде из более, чем сорока ВУЗов только в двух отсутствовала военная кафедра. Но судьба распорядилась по-иному. Всё-таки, кому суждено быть повешенным.... короче, загремел я на "срочку" в соответствии с правилом: "Если хочешь стать солдатом — обложи декана матом". Мне уже исполнилось двадцать лет, когда две прямые — я и армия — казавшиеся до этого параллельными, всё-таки пересеклись, но не в бесконечно удалённой точке, а на ГСП — Городском Сборном Пункте для отправки в армию. Был уже декабрь; совсем рядом, на расстоянии пяти остановок метро, а на самом деле — на другой планете и в другой жизни, остались зачётная неделя в институте, жена-однокурсница и беспечность молодого повесы. Впереди была новая, непонятная, неизвестная своими законами, а потому до холодного пота страшная, жизнь.

ГСП располагался в Доме Культуры. Нас там находилось человек пятьсот естественно бодрящихся, явно пребывавших в стрессовом состоянии парней. После нескольких часов выматывающего сидения в зале пронёсся слух: "Покупатели приехали!" Я тогда ещё не понимал, что это означает, но душу скрутило ощущением бессилия, страха и унижения... Как же так? Мама меня рожала, растила, в школу водила, я делал всё, что положено молодому строителю коммунизма: хорошо учился, сдавал макулатуру и металлолом, в положенный срок стал пионером-комсомольцем, был участником районных олимпиад, даже донором был... и всё это для того, чтобы сейчас меня кто-то купил? Кто? И, главное, у кого?

Мы сидели в зрительном зале, на сцене были установлены столы, за которыми расселись несколько человек в десантной форме. Они имели приоритет при отборе призывников и первыми выбирали подходящих им парней. Обложившись папками с личными делами, "покупатели" какое-то время внимательно их изучали. Отобрали около двадцати папок и стали вызывать кандидатов на собеседование. Вызвали и меня. Беседовал молодой, почти ровесник, лейтенант. Сначала он задал вопрос, явной целью которого было убедиться в том, что я не окончательный дебил. Удовлетворившись ответом, он переключился на спортивные достижения. В личном деле была информация о сдаче норм ГТО, но этого оказалось не достаточно. С дотошностью начинающего следователя он вытягивал всю подноготную: результаты на стометровке, трёх километрах, количество подтягиваний, отжиманий. Наконец он успокоился и передал меня в руки старшего — майора. Тот несколько минут молча буравил меня взглядом, а потом спросил:

— Сынок, ты знаешь, почему мы призываем тебя, не дав доучиться?

Замаячила какая-то тень надежды... а вдруг?... может, сейчас всё образуется и меня отпустят домой. Я, изобразив на лице муки тяжкого раздумья, ответил отрицательно. И майор горько и даже как-то ласково, с лёгкой укоризной, произнёс вполголоса, изображая конфиденциальность: "В связи с осложнившейся международной обстановкой..."

Так начались долгие два года, в течение которых довелось не понаслышке узнать, что такое грязь, подлость, звериная жестокость, грубость и бессердечие, непроходимая тупость, дружба, мужество, сострадание, доброта, сила духа и много чего ещё, присущего венцу творения Господня.

Служба моя разделилась на два примерно равных по времени этапа. Первый из них сопровождался головокружительным взлётом в армейской карьере. Я был опрятным, подтянутым, несуетливым даже на первом году службы солдатом. Через полгода получил лычки, сдал на "отлично" все нормативы, был награждён значками "Специалист 2 класса", "Парашютист-отличник" и "Воин-спортсмен". Меня назначили ротным политинформатором, а эту должность, как известно, доверяли самым ответственным и толковым бойцам. Это дало мне два-три часа относительно свободного времени дважды в неделю (у других солдат на первом году службы его не было вообще). И, наконец, передо мной замаячили синекуры наивысшего успеха, возможного в то время — мне предложили вступить в Партию, естественно, Коммунистическую, другой тогда просто не было. Дело в том, что по разрядке среди рядового и сержантского состава должно было быть два коммуниста. Один из них уже подлежал демобилизации и в его обязанности входило подготовить себе замену. Выбор его, конечно же, пал на меня. Я упирался, отнекивался, мотивируя тем, что пока не достиг необходимого уровня совершенства, но солдат-коммунист считал, что я просто излишне скромничаю. Даже замполит при взгляде на меня стал менять свою обычную маньячно-иезуитскую улыбочку на довольно неприятное интимно-дружеское ощеривание. Казалось, не миновать мне счастья. Воронка успеха уже втянула меня в своё капризное жерло и закружила в бешеном вращении на пути к карьерному Олимпу. Но именно в этот момент что-то во мне надломилось. Я смертельно устал быть хорошим. Как будто маятник достиг своей наивысшей точки и начал движение обратно. Это выразилось в следующем:

1. Мой облик утратил молодцеватость, голос потерял задор при исполнении строевой песни, сапоги и бляха перестали радостно сиять, т.к. я всё чаще стал пренебрегать их чисткой.

2. Вообще перестал готовиться к политинформациям, нёс на них какую-то абстрактную отсебятину, и в конце концов был отстранён от исполнения сей важной обязанности.

3. Потерял комсомольский значок и не прикладывал никаких усилий для покупки нового.

4. И, наконец, когда мы были в Петрозаводске, я напился в увольнении и самовольно уехал на поезде домой.

Это был крах. Фактический и окончательный. Мне дали семь суток губы, заставили сбрить жидкие юношеские усы и разжаловали в рядовые. Процедуру разжалования провели публично, с помпой, торжественно — на плацу перед построенным батальоном. Я даже в какой-то момент почувствовал себя вольнодумцем девятнадцатого века, подвергшимся гражданской казни. Разве что шпагу над головой никто не переломил — за отсутствием оной. Комбат долго и нудно, явно выполняя заказ замполита, который пребывал в шоке от моего предательства, клеймил и изничтожал меня морально. А затем развлек весь личный состав, схватив меня за лычку и начав вращать вокруг себя в попытке её сорвать. Я болтался, как после отделения из АН-12, пока он не вырвал её вместе с погоном. За это время замполит озадачил дежурного принести ножницы, и вторую лычку мне уже аккуратно срезали. Это и было крайней нижней точкой колебания маятника. Я успокоился, перестал метаться и копать в себе, спокойно дослужил и демобилизовался живым и здоровым. А маятник с тех пор — только вверх (тьфу-тьфу-тьфу).



Прошёл дождик

Прошёл дождик, охладив скалы и превратив пыль в скользкую грязь. С противоположного склона бил ДШК, не давая возможности пошевелиться. Достать его мог только снайпер, но у того не получалось даже поднять голову, не говоря уже — произвести выстрел. ДШК искал его, выцеливал, стараясь уничтожить в первую очередь. Было холодно и страшно. Мы лежали, вжавшись в камни, и ждали вертушек, вызванных два часа назад. Вертушки почему-то не прилетали, а густой рокот ДШК заполнял пространство, напоминая о секундной разнице между жизнью и смертью.

Группа напоролась на засаду при выходе из ущелья. Духов было не много, но они занимали хорошо оборудованные позиции, и огонь ДШК моментально уложил нас на землю, лишив возможности оказать сопротивление. Все пятнадцать человек распластались, не имея возможности протереть глаза, высморкаться, выпить воды из фляжек. Не могло быть и речи о том, чтобы подняться или хотя бы осмотреться.

На политзанятиях объясняли, что Советская Армия выполняет интернациональный долг, защищая мирное население Афганистана. Но было не понятно, от кого. Душманы — люди неопределённого возраста с изорванными глубокими морщинами лицами, молодыми глазами и искорёженными тяжёлой работой руками меньше всего походили на тех, кого так подробно обрисовывали политработники. Они, скорее, напоминали средневековых защитников деревень — жестокие, фанатичные, уверенные в своей правоте и не боящиеся смерти. Потерь пока не было, но духи наверняка собирались атаковать под прикрытием пулемётного огня, и тогда группе было бы не сдобровать.

Вертушки не прилетали, ДШК крошил каменистую землю, а мы лежали и надеялись, что солдатский Бог и в этот раз пощадит нас — двадцатилетних парней, плохо понимающих суть происходящего и не желающих умирать.

Игорёк

Игорёк был единственным некомсомольцем в нашей группе. Не знаю, как он умудрился избежать добровольно-принудительного приобщения к передовому отряду молодёжи, но факт остается фактом — в ряды первокурсников серьезнейшего института (нам даже пятнадцать рублей МО доплачивало к стипендии) затесался отщепенец. Он открыто гордился и бравировал своим статусом, любовно оберегал его, пресекая всякие попытки общественности заполучить его в ряды ВЛКСМ. Комсорг группы, имеющий обыкновение растрачивать комсомольские взносы посредством проедания их в мороженнице, пытался компенсировать свою финансовую нечистоплотность активной миссионерской деятельностью по возвращению заблудшей овцы в лоно. Но тщетно. Игорёк был непреклонен. Он наглед на глазах, манкировал обязанностями члена комсомольского отряда ДНД, мотивируя это своей непринадлежностью к рядам прогрессивной молодёжи, любил во время комсомольского собрания (на котором не обязан был присутствовать), зайти в аудиторию и демонстративно гнусавым голосом протянуть:

— Аааа, вы всё заседаааете. Лааадно, пойду ещё кофейку попью.

В начале пятого курса он женился на девочке с другого факультета, и молодая, но рациональная, с деловой хваткой жена намекнула суженому, что грядёт распределение, и неплохо было бы в интересах семьи вступить в комсомол. Ответ Игорька поразил моральной высотой, явственно пахнуло чем-то давно забытым, дворянским, в духе романа Пикуля "Моонзунд". А сказал Игорёк буквально следующее: "Я без пяти минут офицер Российского флота (у нас была морская Военная кафедра), и не пристало мне поступаться своими принципами." В общем, стало ясно, что романтический образ, который взлелеял в себе Игорёк, материализовался и завладел им. Оставалось только посочувствовать молодой жене и попытаться утешить её тем, что жёнам декабристов было ещё хуже, да и Дон Кихоты в наше время на дороге не валяются.

Но всё разрешилось очень скоро и самым благополучным для всех образом. Как ни странно, ключевую роль в этом сыграла та самая Военная Кафедра, благодаря которой Игорёк в скором времени должен был стать лейтенантом флота.

Тысяча девятьсот восемьдесят шестой год принёс свежий воздух последнего, преддипломного курса и ощущение "новой метлы", которая была столь же косноязычна, сколь и все предыдущие, но отличалась каким-то неуёмным задором, южным темпераментом и готовностью мести по-новому. Хотя и сама явно не понимала, как именно... Весь её облик как бы говорил собой: "Эх, подмету!!!" Но

в недрах нашего консервативного ВУЗа особо подмести не получалось. Снаружи — да. Из окрестных ликёро-водочных магазинов исчез почти весь ассортимент дешёвых вин, а большого перерыва между занятиями стало не хватать, чтобы спокойно попить пива у ларьков, т.к. вокруг них непомерно разгорались очереди страждущих. Но внутри всё оставалось по-прежнему, особенно в святой святых — военной кафедре. Надо заметить, что хоть все её преподаватели и были морскими офицерами, но очень различались характерами. Были откровенные дубы, были умные, жёсткие, встречались и мягкие, неуверенные.

Но начальник Военной Кафедры, контр-адмирал, был человек-камень. Все знали, что если он что-то сказал, то по-другому не будет. И вот, за три дня до экзамена на ВК, необходимого для получения звания лейтенанта, начальник её объявил, что некомсомольцы на его кафедре офицерами не станут, и не допустил Игорька до экзаменов. Ситуация действительно была серьёзной, т.к. с недавних экзамен снимали военкоматовскую бронь и в любой момент могли забрать на срочку простым солдатом. И тут с Игорька мигом слетела вся романтическая аура, он проявил редкую сметливость и бытовую расторопность, свойственные скорее складскому прапорщику, нежели офицеру флота. Кроме того, он выказал тонкое понимание психологии различных типов людей. Дело в том, что ему необходимо было организовать комсомольское собрание (на предмет принятия его в члены), обеспечить кворум и заручиться большинством голосов. И всё это за три дня, оставшиеся перед экзаменом.

Кого-то он умолял, кому-то грозил, перед кем-то бледнел, растирая рукой область сердца. В одном кармане у него лежала бритва, чтобы при необходимости можно было имитировать попытку самоубийства, в другом — фляжка со спиртом, способная стать решающим аргументом для многих наших комсомольцев. В дипломате он носил свадебные фото с целью разжалобить сердобольных комсомолок, каждая из которых теперь превратилась для него в так необходимый сейчас "голос", и модную книгу "Мастер и Маргарита", демонстрируя заинтересованным лицам готовность дать её почитать. В некоторых случаях туманно намекал, что готовится стать отцом. А для меня и других студентов, отличающихся здоровым цинизмом, всё решило обещание скромного ужина в шашлычной после экзамена. В общем, Игорек сотворил чудо — за два дня во время сессии он умудрился стать комсомольцем, и наш ВМФ обогатился ещё одним лейтенантом запаса.

Демофобия

Я родился и рос обычным ленинградским мальчиком — анемичным, интеллигентным, склонным к непредсказуемым хулиганским выходкам. В полной мере испытал все свойственные ленинградцам дефициты: фруктов, солнечного тепла, игрушек. В положенный срок переболел ветрянкой и свинкой. Как все ленинградские дети, был подвержен ежезимним ангинам, ОРЗ с различными осложнениями, ежелетним лишаям-блохам, да ещё и картавил до шести лет. Единственное, чем я не болел — это всякими фобиями: русо-, юдо-, клаустро-... Но в двадцать девять лет подцепил-таки одну из них, причём довольно нехарактерную для жителей крупных городов — демофобию.

Дело было 19 августа 1991 года. Часов в 5 вечера по ленинградскому телевидению к горожанам обратился мэр Собчак, призвав их приехать на площадь перед Мариинским дворцом, в котором находился Ленсовет, и принять участие в его обороне от войск путчистов-гэкачепистов. Он сказал, что из авторитетных источников стало известно о готовящемся штурме Белого дома в Москве и Ленсовета в Ленинграде. И даже сообщил мужественным голосом с чуть пробивающимися нотками трагизма, что, мол, его, Собчака, приказано в живых не оставлять. Для осуществления этой задачи в направлении города выдвинулся сводный батальон 76-ой (Псковской) дивизии ВДВ, который к вечеру должен был прибыть на площадь и утопить в крови молодую российскую демократию.

И тут я задумался. Реформы Горбачёва лишили меня возможности работать по специальности, т.к. она была связана с оборонной промышленностью, которую Михайло Сергеевич благополучно загубил. Но я нашёл себя в другой сфере и жил, в общем, неплохо. Очень импонировало то, что людей перестали загонять на всяческие собрания и грузить идеологией (хотя в детском саду, который посещал мой сын, до девяносто второго года висела "Памятка родителям", в которой вторым пунктом после напоминания о важности соблюдения правил общей гигиены указывалось на необходимость "прививать ребёнку любовь к В.И. Ленину").

Ну и, конечно, подкупал ставший свободным доступ к информации. Да и вообще, казалось, что люди вот-вот избавятся от пресса насильственной идеологии, выпрямятся во весь свой скрываемый рост, расправят могучие плечи, откроют друг другу прекрасные лица, и побредут к светлому будущему, ведомые благородными помыслами и такими же вождями.

Короче, я решил встать под знамёна Собчака и засобирался на площадь. Сын был на даче с дедушкой-бабушкой, и жена от скуки увязалась за мной.

Вообще, время было интересное. Ощущалось какое-то гражданское единение, даже гаишники были доброжелательны, никого не останавливали, а количество преступлений в эти дни значительно снизилось. В воздухе витал дух чего-то нового, свободного, страшноватого и захватывающего.

Приехав к Мариинскому Дворцу, мы припарковались в близлежащем переулке и вышли на площадь. Атмосфера сразу насторожила: бросалась в глаза очень высокая концентрация деклассированного элемента, всяких юродивых и просто откровенных психов. Похоже было на маскарад в сумасшедшем доме. Поражало огромное количество разного рода старушек — преобладали почему-то злоеущего вида — они грозили кому-то палками, беззубые рты их прощамкивали проклятия. Были и другие бабульки, весёлые, явно под хмельком, некоторые с баянами. Репертуар их был очень разнообразен: от “Варяга” до Шевчука, многие танцевали, ухая и махая платочками, а одна душевно и темпераментно исполняла песню “Где я?” популярной в то время женской группы “Мираж”. Её мощный голос с белорусским акцентом доминировал над площадью: “Где уяяяя сеуоодня? тра-ля-ля-ля-ля...” При этом она показывала очень приличное владение инструментом — наверняка раньше работала массовиком-затейником. Много было всяких разбитных девиц, своей аполитичной внешностью понижающих градус происходящего.

Ну и казаки, конечно, как же без них. Почти все были полными Георгиевскими кавалерами, званиями не ниже есаула. Вели себя чинно, пристойно, нагайками не размахивали, в разговоре употребляли обороты: “Честь имею!” и “Служу Отчизне!”. Держались особняком, особо любопытных зевак отпугивали возгласами: “Осади назад!”, хотя речь у них была по-ленинградски правильная, без какого-либо южного колорита. Видимо, какие-то «Невские казаки».

Ещё помню молодого опрятного парнишку в гимнастёрке времён ВОВ с противогазом на плече и повадками комсомольского вожака. Он отрабатывал команды “Стройся!” и “Разойдись!” с группой таких же аккуратненьких комсомолят, но без явно выраженной вожаковской харизмы. Лицо у него было по-детски серьёзным, как при фотографировании на первый в жизни паспорт, а бойцы старательно и с явным удовольствием выполняли команды, всем своим видом давая понять, что и в бою не подведут.

Ещё были кришнаиты с музыкальными инструментами, батюшки православные в рясах, какие-то пажоны неопределённого пола, личности в золотых цепях с бритыми затылками, таджики в тубетейках — настоящий Ноев Ковчег. Несколько длинноволосых долговязых парней в холщовых одеждах, с кожаными ремешками на лбах и неопрятной порослью на лицах заявляли, что они “Дети

Солнца” и предлагали всем желающим освоить краткий курс славянского рукопашного боя. Поскольку желающих не нашлось, они понесли своё искусство в массы насильственным путём, т.е. отловили в толпе какого-то опущенного вида мужичонку, который, похоже, вообще не понимал где он и зачем, и стали обучать его, безбожно валяя по асфальту и пресекая всякие попытки мужичонки вырваться и сбежать. Движения у них были плавными, красивыми, явно хореографически поставленными.

Когда стемнело, народ начал кучковаться вокруг владельцев радиоприёмников, которые были настроены на “Эхо Москвы”. Оно передавало жуткие вещи: говорили, что в Москве начался штурм, есть первые убитые, а по улицам разъезжает бронетранспортёр с намотанными на гусеницы человеческими кишками.

На балкон Мариинского Дворца вышел заместитель Собчака Беляев (кстати, сам Собчак, призвавший горожан на площадь, ни разу не вышел к людям, возможно, его там и не было вовсе). Беляев сказал, что колонна десантников-псковичей подошла к Гатчине (тридцать километров от города), поэтому он просит всех офицеров и десантников собраться у правого крыла здания. Очень меня умилило это трогательное отношение к десантникам со стороны отцов города, которые ещё две недели назад, второго августа, силами ментуры азартно отлавливали по городским фонтанам нашего брата, празднующего день ВДВ. А сегодня вот решили доверить защиту своих драгоценных жизней. Самые решительные и пьяные офицеры и десантники потянулись к месту сбора, видимо там им собирались выдать оружие, а я понял, что пора отправлять жену домой, да и свою роль в этом действе никак не мог сформулировать.

Складывалось ощущение, что место это проклято, над ним висит дьявольская воронка, лишаящая разума всех попавших в зону её действия — Чёрный Глаз — и надо срочно валить отсюда...

Пошёл искать машину. Она оказалась развёрнутой поперёк переулка и заваленной строительными лесами. Когда начал высвобождать её, меня в буквальном смысле попыталась арестовать троица революционных хмырей. Один из них — хмурый тип с печатью суровости момента на лице — представился:

— Старший баррикадного пикета такой-то, — и предложил мне объяснить, что я тут делаю.

При этом остальные хмыри встали у меня с боков и смотрели очень недобро. Похоже, они принимали меня за вражеского диверсанта, пытающегося под

покровом темноты расчистить путь на площадь войскам хунты. Один даже, кажется, сказал что-то типа:

— Да что с ним бакланить, завести в подворотню и шлёпнуть!

Я уже и так был на взводе от дикости происходящего, поэтому переварить новые впечатления не смог и в грубой форме предложил старшему пикета проследовать в известном направлении, а сам продолжил разбирать завал. И тогда два хмыря-исполнителя по команде старшего кинулись меня арестовывать. Началась возня на неустойчивом завале. Резкое движение сделать не удалось, а они вцепились в меня как псы. В общем, так и упали втроём. Я распорол икроножную мышцу о какой-то штырь, а с хмырями было и того хуже: один, похоже, вывихнул ногу — пытался встать, но не мог на неё опереться. Другой же провалился между железных конструкций и, видимо, сильно ударился рёбрами — висел, по-рыбьи хватая ртом воздух. Злобно-административный кураж на его лице сменился страдальческой гримасой, обращённой почему-то ко мне. Полный наивного удивления взгляд напоминал выражение лица ребёнка, схватившего руками пчелу. А мне пришлось разорвать рубашку и наложить себе на ногу жгут.

“Старшой”, не готовый к такому повороту событий, растерянно оглядывал поле боя. Победа его была явно пиррова — он лишился всего своего воинства, а арестовывать меня лично в его планы, видимо, не входило. Я посоветовал ему заняться застрявшим бойцом, и “старшой”, почему-то обрадованный, с энтузиазмом полез оказывать помощь починённым. Поняв, что этот завал мне всё равно не разобрать, я вышел обратно на площадь, где сразу же подвергся атаке какой-то девицы в одежде сестры милосердия. Она, довольно грубо толкаясь, промыла мне рану и наложила чистую повязку по всем правилам. Я испытывал благодарность, смешанную с раздражением, а она всё не могла успокоиться, норовила произвести тщательный осмотр, отыскать на моём теле ещё что-нибудь, подлежащее медицинской обработке. Тогда я сказал, что в переулке на баррикаде есть пострадавшие, и она, обуреваемая желанием спасти, умчалась на помощь моим обидчикам. А я забрал жену, выбрался к Неве, дождался, когда сведут мосты, поймал такси и уехал домой. На следующий день вернулся, баррикада была уже разобрана, т.к. демократия победила, а войска дальше Гатчины даже не двинулись. Я поменял порванное колесо и уехал. Видимо, тогда и заболел хронической демофобией — когда оказываюсь в местах больших скоплений людей, меня охватывает ужас.

А что было потом, все знают. Некоторые говорят, что попилили-покромсали, ничего нового не создали, но это не так. Создали новый коммерческий проект, приносящий невиданную прибыль, под названием «Чеченская война». Дешёвые

восполнимые ресурсы — человеческие кровь, мясо, кость менялись на золото, яхты, недвижимость. Вот и думаешь, что Чёрный Глаз действительно есть. И, похоже, закрываться не собирается.

Нью-Йорк

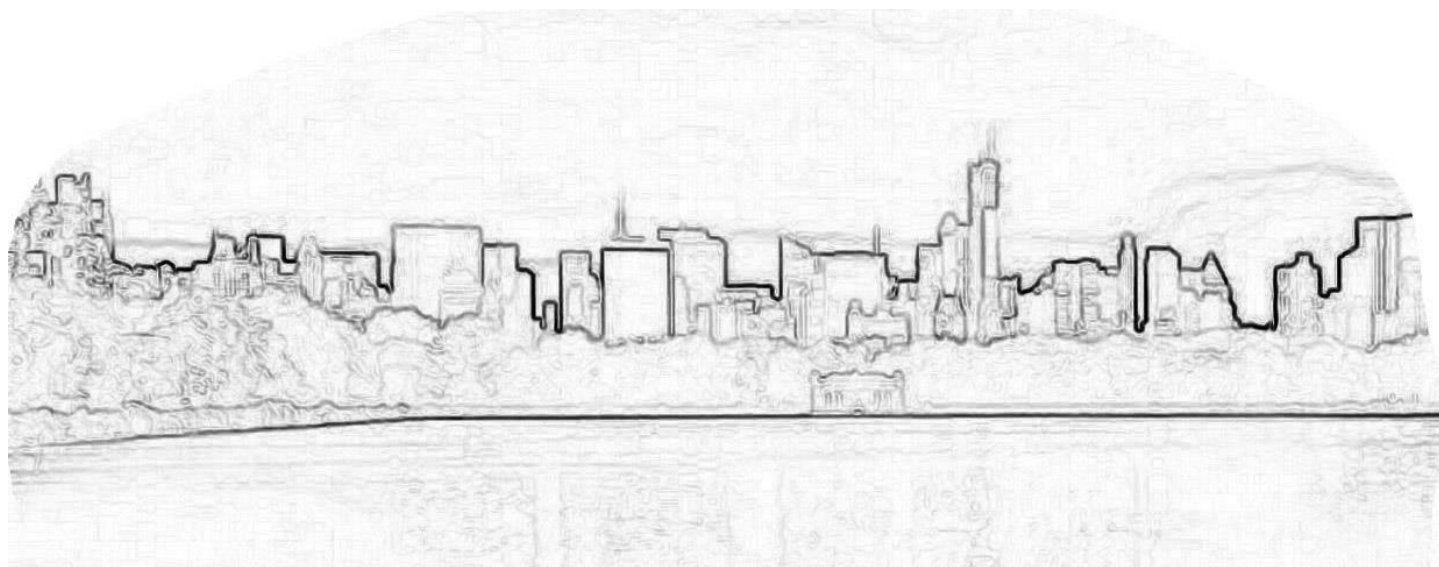
Ночью на улицах Даунтауна ни души. Город похож на впавшего в кому истукана. Только сонная монументальность швейцаров за тускло освещёнными аквариумными стеклами напоминает о жизни, клокотавшей здесь несколько часов назад.

.....

Отъехав пятьдесят миль от Манхэттена и очутившись в горах, ощущаешь себя использованной пивной банкой, выброшенной в ненадлежащем месте.

.....

В Центральном Парке Нью-Йорка можно избавиться от навязчивого вида исполинов-небоскрёбов — тёмной безликой субстанции, нависшей над жизнью. В трёхстах метрах — жёлтая от такси Пятая авеню с музеями, судорогами светофоров и госпиталями. А тут — скальные выступы, живописные кроны и густая колосющаяся трава — среда обитания муравьёв, кузнечиков и изумрудноглазых ящерок. Наверное, так и должно быть в Раю.



Лоретта

Лето две тысячи седьмого года пришло обыкновенно: пыльным запахом горячего асфальта, ледяным дыханием кондиционеров и назойливыми руладами айскрим траков. Лишь одно событие отличало его от других: я влюбился в чернокожую женщину. Ей было слегка за сорок. Приехав с родителями в США из Джамайки, она окончила школу и выучилась на медсестру. Жила себе – в ус не дула – не предполагая, что скоро на неё положит глаз русский парнище сорока пяти лет от роду. Но он положил – как-то внезапно и необъяснимо. Три года был знаком с ней, и ни разу ни один нерв при виде этой барышни не завибрировал. А тут вдруг... Звали её Лоретта.

Лоретта обладала многими достоинствами, главным из которых была способность аккуратно и не жадно есть. К её фигуре невозможно было придраться – она была безупречной, а лицо можно было назвать симпатичным, если бы не явно африканский нос – широкий и плоский. Она носила парики, голова её была подстрижена наголо – для лёгкости их натягивания. Впрочем, так в Америке делают почти все чёрные женщины: естественные, клубящиеся мелким бесом африканские волосы здесь не в моде. Популярностью пользуются длинные и прямые. Солидные женщины предпочитают сдержанные цвета, а молодки – крикливые – от кислотно-фиолетового до ядовито-вишнёвого. Лоретта любила светло-каштановые парики, уложенные в “каре” – так в семидесятых годах носила французская певица Мирей Матье.

Будучи чуть крупноватой, она очень ловко двигалась, но влюбился я в неё не за это, а за то, что под уверенными и даже несколько нагловатыми внешними проявлениями, внутри она оставалась маленькой девочкой – жутко обидчивой и ранимой – всё принимала сердцем. Была естественна и невульгарна.

В общем, влюбиться я влюбился, но что делать дальше – не представлял.

Дочь Лоретты – некрасивая толстая девушка – жила в Канаде. Училась в колледже, успела выскочить замуж и развестись. Лоретта постоянно показывала её фотку, восхищалась и пыталась сосватать дочурку моему сыну, у которого при виде этой красотки, похожей на бегемотика из мультфильма, вытягивалось лицо и начинала дёргаться бровь.

Чтобы перейти на более близкий уровень отношений с Лореттой, я решил воспользоваться её желанием познакомить дочь с моим сыном. Как-то, стараясь

казаться серьёзным, я сказал ему, что нахожу Дженни (так звали дочь Лоретты) симпатичной. Он обеспокоенно взглянул и поинтересовался, не нужна ли мне скорая помощь. Пристыженный, я неестественно засмеялся и сказал, что пошутил. Удивление на лице сына сменилось подозрительностью. Было заметно, что он отметил странность моего поведения.

А влюбился я капитально – не успел вовремя придушить разгорающееся чувство – разве мог я представить, что когда-нибудь неровно задышу к расово чуждой дамочке? Лоретта, похоже, тоже была равнодушна ко мне – заинтересованно поглядывала, при каждом удобном случае пыталась повернуться спиной, выгодно демонстрируя плавный переход изящной талии в олицетворяющие жизнь шикарные бёдра, а один раз даже угостила куском шоколадки. Всё это ещё больше распалило моё чувство. Я решил отказаться от окольных путей и стал действовать напрямую – пригласил её вечером на кофе. Она согласилась.

Лоретта жила в Квинсе в районе, носящем название её родной страны – Джамайка. Недалеко от её дома находился ресторанчик “Рэд Лобстер”. Там и договорились встретиться.

Я приехал без пятнадцати восемь и стал ждать Лоретту. Несмотря на будний день, народу было много – паркинг заполнен наполовину, постоянно подъезжали новые машины. Из них выходили люди и скрывались за грубыми, выполненными в стиле старых американских салунов дверьми.

Зайдя внутрь, я выпил в баре тройной шат текилы, убедился, что со свободными столиками проблем не возникнет и вернулся на улицу. Уже стемнело, зажглись фонари. Цветные огни реклам диссонировали с непричёсанными кронами деревьев. Невидимые цикады то беспричинно поднимали истеричную трескотню, то необъяснимо умолкали. Было тепло, время от времени ветерок напоминал о близости океана.

В пять минут девятого ко входу подъехало такси. Чернокожий водитель был одет в белую рубашку. Казалось, что у него нет головы и кистей – автомобилем управляла рубашка. Над рулём светились два пятна – белки глаз водителя.

Лоретта вышла и улыбнулась, сверкнув очень ровными и белыми, как будто искусственными, зубами. На ней были голубые джинсы, фиолетовая блузка и крупные пластмассовые бусы серебристого цвета. Бледно-лиловый с белыми точками маникюр напоминал вечернее небо. Лёгкие босоножки открывали маленькие пальцы ног с ногтями, покрытыми лаком того же цвета. Не знаю, зачем чернокожие женщины делают макияж, но я был уверен, что он присутствовал на её лице.

Мы зашли в помещение, сели за столик в зале, где не танцуют, сделали заказ. Я отлучился к барной стойке. Вернулся с двумя бокалами холодного "Пино Гриджио". Под потолком висел огромный красный муляж лобстера. Клешни его были похожи на инструменты для обрезания арматуры, а усы бессильно повисли оборванными канатами. К лобстерам подали по крупной запечёной "в мундире" картофелине и варёному початку кукурузы. На деревянной досочке, покрытой грубой домотканной скатёркой, принесли два тёплых кирпичика чёрного хлеба, масло и солонку с молотым сухим чесноком. Я поковырял картофелину, выгрыз проплешину в кукурузном початке и принялся разламывать панцирь варёного чудовища. Лоретта вдруг спросила:

– Как ты думаешь, почему люди не летают?

Сладостная игла зашевелилась у меня в солнечном сплетении, рождая хлещущее в мозг упоение. Вот он – культурно-эмоциональный стержень, объединяющий народы. Вот она – всепобеждающая сила величия русской классической литературы. Убеждённый в том, что сейчас мы долго и высокоинтеллектуально будем рассуждать о творчестве Островского с последующим переходом на Достоевского, Куприна и, возможно, Бунина, я открыл рот. Но Лоретта опередила меня, сама ответив на свой вопрос:

– Я думаю, это из-за машин. Если бы люди летали, машины были бы не нужны. А разве человек может обойтись без машины?

Сама она ездила на белой "Toyota Camry" и мечтала в следующем году взять в лиз "BMW-6". Я понял, что обсуждение русскоязычных литературных мастодонтов сегодня не состоится и сказал, что если бы люди умели летать, то отдых на Карибах обходился значительно дешевле. Лоретта засмеялась и стала покачиваться в такт доносящейся из соседнего зала музыке. Было заметно, что ей хочется танцевать.

Когда мы вышли, было уже поздно – паркинг опустел, на улицы выехали угрожающе рычащие мусоросборочные грузовики, а цикады прекратили свой безумный ор, угомонившись в неподвижной листве. Мы пошли вдоль пустынной улицы, разговаривая ни о чём. Я ощущал её ладонь и взволнованность, чувствовал тонкий, чуть сладковатый свежий запах парфюма. Решив досчитать про себя до трёх и после этого обнять её за талию, я стал мысленно готовиться. "Три" настало очень быстро. Я решил, что ещё не готов для совершения столь brutального действия и продолжил считать. При счёте "восемнадцать" рядом остановился тёмный "Nissan Maxima", из него вывалились трое чернокожих парней и обступили нас. Все были заметно неадекватны – возбуждены, суетливы, развинчены. От них

пахло пивом и марихуаной. Один встал сзади и ткнул мне в спину чем-то твёрдым, возможно, стволом пистолета. Другой остановился сбоку. Взгляд его источал плохо сдерживаемую жажду нетривиальных поступков. Он сопел, как бык перед матадором. Третий – по-видимому главарь – паренёк лет двадцати с жиденькой бородкой и непомерно, по-лошадиному вывернутыми губами – встал напротив. Левую руку он держал в кармане, обозначая наличие оружия, а правой выделял психопатические движения наподобие исполнителя рэпа.

– Эй ты, белозадая обезьяна, – презрительным речитативом прокаркал главарь.
– Хочешь трахать наших чикс – гони бабки!

Над кустом шиповника грузно летали, неоновом разгораясь и тут же затухая, светлячки. Пахло вечерними цветами и скошенной травой. На знаке, запрещающем парковку, краской было написано матерное слово.

Чёрный главарь ударил меня прямым по скуле, затем хуком по уху. Во рту появился кровавый привкус. Стоящий сзади налётчик в это время вытащил из карманов моих брюк телефон, документы и деньги – долларов восемьдесят. Права и кредитки он бросил на землю, телефон и купюры сунул в карман, и троица умчалась.

Я стоял и нелепо улыбался. Испуганная Лора погладила меня по щеке и осторожно поцеловала в край губ. Я почему-то обратил внимание, что ладонь у неё была светлая, как у меня. Странно, ведь до этого я сто раз видел, что ладони у неё белые, а сейчас это почему-то меня удивило. И ещё в детском возрасте, посещая с отцом общественную баню в Ленинграде, я видел моющихся чернокожих и знал, что пятки и ладони у них светлые.

Я подумал: хорошо, что она чёрная. Будь на её месте белая, нос у неё был бы не таким плоским и обязательно упёрся мне как раз в то место скулы, по которому больно саданул вертлявый грабитель.

Убедившись, что медпомощь не требуется, Лора вызвала полицию. Машина с двумя чернокожими патрульными подлетела через минуту. Выслушав, они посадили нас на заднее сиденье и понеслись искать грабителей. Диспетчер послал в помощь несколько других экипажей. Минут двадцать мы прочёсывали окрестности. Потом, поняв, что усилия напрасны, диспетчер дал отбой. Мы приехали в отделение, составили рапорт и вышли на улицу. Стояла тишина. К отделению подъезжали полицейские автомобили. Из них выходили экипированные парни и девушки и устало заходили внутрь. По другой стороне улицы, лениво шевеля лапами, брёл ракун. Полосатый хвост его был устремлён вверх наподобие столба дыма, а круглые любопытные глаза спокойно разглядывали нас. Я вызвал такси,

отвёз Лору домой, попрощался, не выходя из машины, и, наконец, поехал к себе. Хайвей был пуст, водитель включил какую-то заунывную индийскую музыку, и я уснул.

Через месяц меня вызвали в Квинс на опознание. В куче из двух десятков телефонов я нашёл свой. Его мне тут же вернули, хотя он стал совершенно ненужным, т.к. на следующий день после происшествия я обзавёлся новым. Затем мне предложили опознать налётчика. Я не был уверен, что это он, но злодей, увидев меня, ухмыльнулся и поинтересовался состоянием моего уха. Я понял, что это главарь грабителей и сказал, что узнал его. Ещё через два месяца я получил от городского управления чек на восемьдесят три доллара и девятнадцать центов. Потом меня ещё несколько раз приглашали в суд, но я не ездил – надоело.

Позже у Лоретты на работе случилась неприятность – она по ошибке дала пациенту с сильно понизившимся давлением гипотензивный препарат – пациента еле откачали. Лоретту лишили лицензии медсестры и она год работала на позиции Certified Nurse Assistant (по-русски – нянечка). Потом лицензию вернули и она опять стала медсестрой и даже вышла замуж за полицейского. А я с тех пор не влюбляюсь в чернокожих женщин. Зачем искать свою редиску в чужом огороде? Всё равно её там нет.

Я родился карасём

Я родился карасём. А что смешного? В моём Берёзовом Озере таких карасей большинство. Есть и мелюзга всякая, но это так... деклассированный опустившийся рыбий элемент. А погоду в озере делаем мы, караси. Есть ещё желтобрюхие щуки. Они, конечно, щуками рождаются, но в настоящие щуки их выбираем мы — караси! И выбрать толковую и не очень прожорливую щуку — наша главная задача. А как же, тут дело известное: не будет щук — не будет порядка — начнётся хаос. Карась покрупнее попьёт карасика помельче, или карасиху его прям средь бела дня заберёт себе для личного пользования. Н-е-е, порядок нам ох как нужен! Вот щуки этот порядок и обеспечивают. Они, конечно, нас поедают, но ведь не сразу. Дают возможность счастьем своим карасьям насладиться. Кому больше, кому меньше, но дают. В общем, карасьям без щук никак. И щукам тоже без нас не прожить. На примере щуко-карасьевого сосуществования какой-то философ даже закон диалектический доказал — что-то о единстве противоположностей, которые при этом постоянно находятся в состоянии борьбы.

Ну, случаются казусы, как без них. Рассказывают, что когда-то давно щуки расплодились настолько, что тёпленьких местечек им стало не хватать. И те щуки, что остались не у дел, начали карасей подстрекать к бунту. И среди карасей размножился подвид карасей-пассионариев, которые уже не хотели жить по-старому. Началась смута, караси взъерепенились, свергли старых щук и посадили на их место новых. Долго озеро кипело карасёвой междоусобицей, мутнела вода от карасёвой крови, да говорят, всё без толку. Караси-пассионарии сгнули в этой буче, остались самые опасливые, хитрые и циничные. Чуть популяция не загнулась тогда — до сих пор аукаются те разборки лихие.

Есть и другие озёра, например — Озеро Зелёное. В нём тоже в основном караси, но щуки не желтобрюхие, а серебристые. Давно известно, что жизнь там слаще. Ну, в том смысле, что у тамошних щук зубы не такие острые и едят карасей они не так быстро и не с таким ожесточением... Культурнее и рыболобивее, одним словом. Нашим-то щукам всё это давно было известно, поэтому протоку, соединяющую озёра, перегородили плотиной с маленьким шлюзиком (чтобы самим за протоку наведываться), и она охранялась карасями-пограничниками. Но шила в мешке не утаишь, прознали караси про счастье за протокой и потянулись туда. Каждому ведь хочется, чтобы его кушали не так больно и, по возможности, с уважением. А щуки (и наши, и заплотинные), не только зубасты, но и умны. Никто не хочет, чтобы их законные караси уплывали в другие озёра и кормили собой всяких посторонних щук. Да и вообще, хочется, чтобы поедаемый карасик

лез тебе в пасть не чертыхаясь, а с любовью и благодарностью. Поэтому щуки из Зелёного развели в своём озере много всякой тины, чтобы караси всегда были сыты, жирны и счастливы.

А наши придумали одну хитрую штуку... Природа так распорядилась, что у каждого карася есть рядом с жабрами маленькие железки. Они вырабатывает в рыбью кровь некий секрет, который заставляет карасей любить себя и, как следствие, всё с собой связанное — корягу, под которой родились, запах родного ила, коэффициент преломления лучей на родной поверхности, химсостав воды и другие особенности своего озера. Вот умные щуки и смекнули, что можно воспользоваться этим естественным карасёвским свойством. Они ввели категорию, назвав её «Вродина», т.е. — «Вода родная», и стали всю массовую информацию подавать в таком виде, чтобы их щучьи личности ассоциировались у карасей с этой Вродиной. Т.е. прилепились к карасей любви к родной коряге и цвету родных водорослей. Ну и, конечно, стали просвещать своих карасей в плане того, какие в других озёрах щуки прожорливые и не уважающие рыбьих прав. А мы, мол — ваши родные, стремимся к повышению рождаемости ваших мальков, беспокоимся о состоянии вашей икры и жирности вашей плоти (конечно, беспокоятся, им же нас потом пожирать) А мы, караси, почему-то ненавидим таких же карасиков из других озёр, в жабры им готовы вцепиться за то, что они кормят собой своих щук, а не наших. И пляшем неуклюжий карасий вальс под щучью дудочку. Ну а что делать, видимо, так наш рыбий Бог задумал... без щук мы совсем распустимся. Рыба ведь создание несовершенное — не то, что человек.

Роман

Уже много лет я думаю о себе в третьем лице. Вот он (я) смотрит в окно, вот проходит мимо неуклюжего синего почтового ящика, вот женщина говорит ему: “Чао, дорогой.” Как будто я — это не я, а персонаж романа, который сам же и читаю. Тяга к жизни сводится исключительно к желанию дочитать этот роман — узнать, чем же всё кончится. Неуёмный, порочный интерес заставляет жить, есть, ходить на работу.

Не важно, как и куда я исчезну, что оставлю и оставлю ли вообще. Будут ли меня вспоминать и, если будут, то какими словами. Не важно даже, что станет с человечеством: придёт ли оно, наконец, к счастью или исчезнет навсегда. Важна лишь фиксация происходящего — без цели и смысла — так рука, не задумываясь, переворачивает календарный лист.

Даже боль, холод, страдания являются лишь пищей для сознания, перемалывающего все ощущения с методичностью голодного зверя. Оно переживает нечто похожее на возбуждение только когда чувствует приближение чего-то нового, доселе неиспытанного. Не хочется ничего — ни материального, ни духовного. Хочется лишь наблюдать и фиксировать.

И нет хорошего и плохого, добра и зла. Есть только бесстрастно-поступательное движение времени — аргумент, и функция этого аргумента — история. Не станет человечества и Земли, остынет Солнце, прекратит существование последний атом во Вселенной, но время всё так же будет тикать, и что-то будет происходить — пусть и не на материальном уровне. И чем это происходящее будет немыслимее, тем лучше.

Кирпич

О любви я мечтала давно. Вот сколько себя помню, столько и мечтала. Да не просто о любви, а о СВОЕЙ, личной – с формой, цветом и запахом, соответствующими моим представлениям. И виделась она мне таким кирпичиком... розовым, гладеньким, полностью повторяющим форму прорехи в стене моего счастья. Вот кирпичик этот заветный и должен был идеально лечь в эту самую стену мою недостроенную, закупорив собой неприглядную дыру с ломаными контурами.

Встречались мне уже эти кирпичики.... вроде, всё как надо: розовенькие, чистенькие, симпатичные... но вот форма их... ну никак не соответствовала конфигурации этой самой прорехи – какие-то уголки ненужные, выступы, грани лишние.. Пробовала я обтесать, да ломались они, крошились, а некоторые так вообще – сбегали, вернее – дематеризовывались. Вот ведь кирпичи кирпичами, а поди ж ты... с гонором! Это уже под конец жизни я поняла, что у каждой этой кирпичины неразумной своя прореха в счастье... и они, гады эти, на меня тоже смотрели... ну... да чего там, девки – тоже как на кирпичиху. Кирпичиху, но уже предназначенную для их стены счастья. Вот ведь, девки, как бывает.

Ну вот и что ж это за штука такая, любовь? Я ведь, уж если люблю, то люблю всей душой своей трепетно-огромной, всем сердцем и вообще... всем. Помню, как я в детстве Мишку плюшевого любила... большущего такого, ушастенького, живущего в игрушечном отделе Детского Мира. Вот тогда я и испытала первый раз в своей жизни муки неудовлетворённой любви – родители мне его никак не хотели покупать, говорили, что денег нет... а я ведь так его любила, так его хотела, жить без него не могла... Травма, девки, на всю жизнь!

Теперь вот, кирпичи эти...

Нет, ну никак в толк не возьму... полюбила я кирпич, он же радоваться должен – улыбнулось ему в судьбе его кирпичёвской... так нет... всё ему что-то не так.. параллелепипед примитивный! Даром, что глина вместо мозгов, так и ту ещё в печи обжиг довели до полного спекания. Ну разве может такое существо стройматериальное самостоятельно мыслить? Не может! Ну так чего ж оно бегаёт от меня, как от шашки пиротехнической?

Ну, может, хватаю его грубовато, да и в прореху счастья своего пихаю тоже не очень обходительно... ну да ничего, поскрипит он, поохает, не умрёт же. А как по-другому, миндальничать что ли? Мужики... ой, кирпичи, они ж не люди, им деликатное обращение не требуется. Да и дыру эту окаянную так хочется закрыть поскорее. А что, девки, ну разве ж вы не согласны со мной? Ну ведь хочется же счастья.. прям здесь и сейчас!

Но ведь до чего же они подлые, кирпичуги эти! И хитрые. А лицемеры какие! С виду нарядные, в галстучках, а нутро у них серое, глиняное... И вот что обидно – к какой-нибудь мамзельке бледненькой-малохольной сами лезут, готовы себя кромсать и обтёсывать... а как ко мне в руки попадут, так ерепенятся... Ну что во мне такого страшного? Вот только что этот самый кирпичина готов был урезать себя вполювину, чтобы к какой-нибудь крале пристроиться... а со мной так всё наоборот – немеет от страха, рассыпается и – оба-на! Фигос под нос! Был кирпич-кирпичом, а тут раз – и на пылинки себя извёл, и просочился мимо рук моих, прям как у известного поэта Маяковского – как с белых яблонь дым. А я ведь обтёсывала его бережно, с любовью, с желанием трепетным.

Да что с них взять – глина сушёная, только пыль в глаза пускать умеют! А ну их, девки, да пусть хоть все кирпичные заводы позакрывают, я и с дырой похожу. Всё одно – нет в жизни счастья!

Идут солдаты

Идут солдаты. Давно уже идут, устали. Хуже всего тем, кто по полной боевой – особенно, если тащут на себе двойной боезапас: лифчики набиты снаряжёнными магазинами, в эрдэшках – 900 патронов калибра 5.45. Четыре гранаты – это уж кто где присобачит, тут у каждого свой вкус. Но запалы – отдельно, т.к. идти далеко и долго, а если запалы ввинтить, то за время похода они могут прожаветь и сработать. А оно солдатам надо?

Идут, короче. Некоторым идти совсем легко – боезапас истрачен полностью, флаги пусты и даже автоматы, каски и броники утрачены. Вот они и стараются помочь тем, у кого снаряжения больше – берут их автоматы, гранатомёты и письма из дома, которые случаются потяжелей всякого оружия.

Один – высокий татарин с женским именем Зина – идёт, как красный командир Щорс – голова обвязана, кровь на рукаве, но в руках чётки перебирает и бормочет что-то. Стыдно ему – воевал со своими единоверцами, даже подстрелил, кажется, парочку. А что оставалось делать, если единоверцы накрыли перекрёстным огнём боевого товарища Зины – Марика. И этого Марика сейчас вообще несут – картаво молчащего, с громадными скорбными глазами... и выглядит это странно – ведь предки Марика очень любили ходить – как-то даже 40 лет ходили по бездорожью. А этот сплоховал – ножки потерял где-то, и поэтому идти ему нечем. А куда делись ножки замкомвзвода матобеспечения Марика Чернявского – лучше не говорить, чтоб никому не пришлось в голову назвать его «позором еврейского народа», не только не сумевшего чужие ножки прихватить, но и, вместо этого, свои не сберёгшего.

А ефрейтору Ивану Перескочипечко тоже стыдно – в последнем переходе во время привала, когда предпоследнюю фляжку передавали из рук в руки, он заглотив воды больше, чем полагалось на одного человека – вспомнил, как на танцах в Доме Культуры им. Цюрупы на спор одним глотком засосал в себя бу-тылку водки. .

В общем, идут солдаты... как-то тяжело, со стыдом, но идут. Матерятся, анекдоты похабные рассказывают, фотки подозрительные целуют... ненормальные какие-то. И ни один даже самый задрипанный главварь администрации даже цветочка хиленького им не протягивает.

Давно идут, устали, вспотели. Заходят в деревни, а там румяные бабы льют им студёную колодезную воду на чёрные от солнца шеи и стёртые амуницией плечи. Заходят в кишлаки, и рахатлукумные Гюльчатаи поливают их пыльные спины из медных кувшинов, тщетно пытаясь спрятать бархат чёрных глаз под

мгновенно становящимися прозрачными паранджами. Заходят солдаты и в города Аттики и Пелопоннеса, и белорукие древнегречанки с ахматовскими носами и гордыми плавными движениями льют им на торсы прохладу горных источников из глиняных амфор. А в стойбищах чукотских оленеводов их встречают прокуренные чукотские оленеводы, поят пахнувшим дымком чаем, угощают всякими подтухшими деликатесами и укладывают спать со своими жёнами. А утром счастливые жёны, прощаясь, дарят солдатам грубые фигурки из моржовой кости и со словами: «Русская солдата – лучшая солдата, однака!», уходят в чум варить кофе, курить, ждать с работы своего любимого оленевода и вспоминать странных русских солдат – вспыхивающих и быстро угасающих, и бормочущих во сне, и пугливо озирающихся в момент просыпания.

Идут солдаты. Давно идут, устали уже. Люди думают, что солдаты идут в края, где небо касается земли, но они идут совсем не туда. А куда – никто не знает, даже они сами.

Окна

Середина августа

В середине августа пришли первые холодные ночи,
а потом похолодало и днём.
Пёстрые кусты черноплодки, похожие на глыбы яшмы,
трепетали разноцветно-мелкими листьями.
Дождей не было,
но клумбы под окном с утра были влажными.
В вечерних сумерках яблони теряли привычные очертания,
сливаясь с темнеющим небом.
Лето кончилось.

По вечерам я топил печку, и красные тени,
вылетая из отверстий в железной дверце,
беззвучно бесновались на потолке.
Темнота, сгущаясь за окнами,
переносила акценты внутрь комнаты,
оживляла её, наделяя таинственными смыслами.
Вокруг жёлто светящей лампы
ошалело вился длинноногий комар.
Я лежал, думая, что точно так же сучусь
вокруг чего-то яркого и близкого,
пытаясь постичь его, увидеть,
но в который раз не сумею понять ничего...
Кроме одного: снова пришла осень.

Твой мир

Влажное тепло парадной клубится над подвальным проёмом,
скрывая иной мир — чужой и непонятный.
Открывая ключом дверь квартиры и заходя вовнутрь,
ты улавливаешь слабый запах непросохшей тряпки из ванной,
включаешь свет, и чужое перестаёт существовать.
Здесь только твоё: зелёные обои, пыльные покрывала кресел,
трапециевидная тень на занавеске.
Всё это, ещё мгновение назад вздыхающее, шепчущееся, живое
замирает, выражая готовность подчиняться тебе — хозяину.
И когда ты умрёшь, какое-то время ничего не изменится.
А потом придут новые хозяева,
но для тебя это не будет иметь никакого значения.

Окна

Окна моей квартиры выходят на северо-восток.
Утром солнце мешает спать,
а вечером отражается закатом в окнах дома напротив.
Оно сначала закрашивает их непроницаемой тушью,
а потом вползает внутрь красным беззвучным пожаром — зловецим огнём.
И уходит, оставляя после себя сгущающиеся сумерки.
Эти двадцать минут порождают множество вопросов и ни одного ответа.
Разгораются фонари, безуспешно пытаюсь разогнать тьму.
Окна успокаиваются, изливаясь бледно-оранжевым уютом и
ставя новые безответные вопросы.

Люди

Джимми

Я не люблю исполнять команды.
Командовать тоже не люблю.
За всю жизнь у меня был только один подчинённый.
И тот индус.
Он был умным, усидчивым и ленивым.
Постоянно улыбался и источал запах карри.
Сейчас он менеджер проекта.
Руководит группой из двенадцати программистов.
Так же ленив, улыбчив, пахуч.
Видимо, скоро опять пойдёт на повышение.
Женится и переедет жить в Лонг Айленд.
Ему чуть больше тридцати.
Надеется дожить до восьмидесяти.
Возможно, это ему удастся.

Пэг

Пэг лесбиянка.
Говорит хриплым голосом и много курит.
Руководит проектом,
над которым работают восемь мужчин и пять женщин.
В её кабинете висит изображение зелёного листа —
символ Ирландии.
Весь проект она держит в голове.
Никто не может понять, как ей это удаётся.
На Рождественском пари она садится к роялю и играет классику.
Говорит, что любит Достоевского.
Перед сдачей проекта переезжает жить в офис.
Курит марихуану и работает сутками.
Никто не видел, чтобы она плакала,
но в глазах у неё всегда слёзы.
Наверное, это от сигаретного дыма.

Мистер Уигмен

Мистер Уигмен чернокожий.

Работает уборщиком.

Ходит по этажам офисного здания — вытирает пыль,
собирает мусор в большие пластиковые мешки и вывозит их на тележке.

Он высок, худ, медлителен.

На пенсию уходить не хочет, так как не мыслит жизнь без работы.

Всегда спокоен, любезен, тих.

На этом месте он работает больше двадцати лет,
но никто не знает его имени.

Возможно, оно у него вообще отсутствует.

Россия — Америка

Сначала я думал: как хорошо жить в стране с социалистической системой.
Потом: как много в этой системе лжи и насилия.
Уехав в страну капитализма, стал думать: до чего же логична, примитивна и скучна идеология Западного мира.
Потом перестал думать вообще.
Когда приезжаю в Россию, начинаю думать снова.
Возвращаюсь в Америку — перестаю.
Жить, не думая, мне нравится больше.
.....

Самолёт из Москвы в Нью-Йорк летит девять часов.
За это время он пересекает восемь часовых поясов.
Направление его движения совпадает с направлением вращения Земли.
Вылетев в три часа дня, прилетаешь в Нью-Йорк в четыре по местному.
Пролетев девять часов, теряешь всего час из жизни — как-будто время замедляется.
А когда летишь из Нью-Йорка в Москву, Земля вращается тебе навстречу, и время ускоряется, забирая из жизни семнадцать часов.
Так и живёшь в постоянных временных судорогах.
.....

Когда прилетаешь в Россию, на паспортном контроле хмурая прапорщица внимательно проверяет твои документы, затем ставит печать и нажимает кнопку, открывающую турникет.
На лице её написано: "Ну иди пока. Повезло тебе — не попался."
В Америке пограничник проверяет документы не менее досконально, но, пропуская, говорит: "Welcom!" и улыбается.
Наверное, он жутко рад твоему возвращению.
.....

В России собаки лают и остервенело гонятся за проезжающими машинами.
В Америке они демонстративно не замечают ничего вокруг и всё время молчат.
Видимо, им элементарно нечего сказать.

В России кукушки живут в лесах, их романтический образ воспевается в стихах и песнях.

В Америке они любят города — вьют гнёзда под торчащими из окон кондиционерами, а в глазах людей символизируют сумасшествие. По-моему, американцам просто не нравится монотонно-психопатический звук их голоса.

В России любят сочинять в рифму, называя это поэзией. В Америке рифму не признают, считая, что она ограничивает свободу поэтического потока. Кто же прав, Россия или Америка? Спросить не у кого.

02.17

Оглавление

<i>Карл Маркс</i>	1
<i>Ейск</i>	2
<i>Юра</i>	3
<i>Генрих</i>	4
<i>Ходики</i>	6
<i>“Пиво”</i>	8
<i>Военные сборы</i>	9
<i>Модные ботинки</i>	11
<i>Колхоз</i>	15
<i>Дежурство в ДНД</i>	18
<i>Маятник</i>	25
<i>Прошёл дождик</i>	28
<i>Игорёк</i>	29
<i>Демофобия</i>	31
<i>Нью-Йорк</i>	36
<i>Лоретта</i>	37
<i>Я родился карасём</i>	42
<i>Роман</i>	44
<i>Кирпич</i>	45
<i>Идут солдаты</i>	47
<i>Окна</i>	49
<i>Люди</i>	51
<i>Россия — Америка</i>	53



